

Посвящается
Леонардо Гаравито, вручившему
мне этот прах,
Марии Линч и Пилар Рейес,
показавшим, что вылепить из него.

...Останки благороднейшего мужа.
У. Шекспир
«Юлий Цезарь»

I. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ О РОКОВЫХ ДАТАХ

Последний раз я видел Карлоса Карбальо, когда он, со скованными за спиной руками, втянув голову в плечи, неуклюже влезал в полицейский фургон, а бегущая строка на экране сообщала о причинах ареста — покушение на кражу суконного костюма, принадлежавшего одному давно покойному политику. Эти мимолетные кадры по чистой случайности попались мне на глаза в выпуске вечерних новостей, между назойливыми заклинаниями рекламы и спортивной хроникой, и я еще подумал, что из многих тысяч телезрителей, разделивших со мной этот момент, я один, не кривя душой, могу сказать, что нисколько не удивился. Действие происходило в доме Хорхе Эльсера Гайтана, ныне превращенном в музей, где каждый год полчища туристов желают вступить в краткий и неполноценно-заместительный контакт с самым знаменитым политическим преступлением в истории Колумбии. В этом костюме Гайтан был 9 апреля 1948 года, в тот день, когда Хуан Роа Сьерра, молодой человек, испытывавший смутное влечение к нацизму, флиртовавший с сектами розенкрейцеров и временами разговаривавший с Девой Марией, дождался его у выхода из резиденции и среди бела дня, при всем честном народе, запрудившем эту столичную улицу, с нескольких шагов четырежды выстрелил в него. Пули про-

дырявили пиджак и жилет: и главным образом ради того, чтобы взглянуть на эти темные пустые кружочки, приходят в музей посетители. Карлос Карбальо, как можно предположить, был одним из них.

Произошло это во второй вторник апреля 2014 года. Судя по всему, Карбальо явился в музей около одиннадцати и несколько часов кряду то кружил по дому, как дервиш в трансе, то стоял, склонив голову набок, перед томами уголовного права, то смотрел документальный ролик, запечатлевший горящие трамваи и неистовую толпу, размахивающую мачете: эти кадры крутили целый день беспрерывно. Дождавшись, когда уйдет последняя группа посетителей — подростки в школьной форме, — он поднялся на второй этаж, где в застекленной витрине вниманию публики представлен был костюм, надетый Гайтаном в день своей гибели, и несколько раз ударил в толстое стекло кастетом. Ухватил плечо темно-синего пиджака — но больше ничего сделать не успел: прибежавший на гром и звон охранник направил на Карбальо пистолет. Злоумышленник только тогда заметил, что порезался осколками, и начал, как бродячий пес, лизать костяшки пальцев. Впрочем, он не выглядел растерянным или испуганным. Молоденькая телеведущая в белой блузке и шотландской юбке высказалась по этому поводу так:

— У него был такой вид, словно его застигли за расписыванием стены.

На следующее утро все газеты упоминали о неудавшемся ограблении. И столь же дружно, сколь и неискренне, удивлялись, что Гайтан и спустя шестьдесят шесть лет продолжает вызывать столь сильные чувства, а иные бесчисленное количество раз сравнивали его гибель с убийством Кеннеди — в минувшем году исполнилось ровно полвека этому событию, но его завораживающий эффект не ослабел ни на йоту.

И, как если бы об этом нужно было напоминать, все говорили о том, какие непредсказуемые последствия породило преступное деяние — народные протесты перевернули город вверх дном, рассаженные на крышах снайперы стреляли беспорядочно и бессмысленно, и страна на несколько лет оказалась в состоянии войны. Одни и те же сведения передавались повсюду, с добавлением таких или сяких оттенков, с большим или меньшим нагнетанием страстей; иногда они сопровождались фотоснимками, на которых остервенелая толпа, только что линчевавшая убийцу, волочит его полуголое тело по мостовой Седьмой карреры¹ к президентскому дворцу, однако нигде, ни в одной газете, нельзя было найти пусть хоть самого диковинного и нелогичного объяснения истинных причин того, почему нормальный вроде бы человек решил проникнуть в охраняемое помещение и силой присвоить простреленную одежду покойной знаменитости. Никто не задал этот вопрос, и Карлос Карбальо постепенно стал изглаживаться из нашей запрессованной памяти. Колумбийцы, ошеломленные повседневным насилием, от напора которого не успевали даже пасть духом, дали этому безобидному человеку исчезнуть, как тень. Никто больше не думал о нем.

О нем-то — хотя не только о нем — я и собираюсь рассказать. Не могу утверждать, что хорошо знал его, но была между нами определенная степень близости, доступная лишь тем, кто когда-то пыгался друг друга надуть. Тем не менее, принимая за это повествование (а оно, как можно предвидеть, выйдет одновременно и пространным и неполным), я должен буду сначала упомянуть о человеке, который нас познакомил,

¹ Улица или проспект, идущая с севера на юг перпендикулярно калье.

ибо все случившееся после обретет смысл лишь в том случае, если описать, при каких обстоятельствах вошел в мою жизнь Франсиско Бенавидес. Вчера, шагая по тем местам в центре колумбийской столицы, где происходила часть событий, о которых я намереваюсь поведать, и стараясь в очередной раз удостовериться, что ничего не упустил в этой мучительной реконструкции, я вслух спрашиваю себя, как же это вышло, что мне стало известно такое, чего лучше было бы не знать: как же так получилось, что я столько времени думаю об этих мертвецах, живу среди них, разговариваю с ними, выслушиваю их жалобы и в свой черед жалуясь, что ничем не могу облегчить их страдания. И диву даюсь, что все началось с нескольких слов, которые вскользь произнес доктор Бенавидес, когда приглашал меня к себе. В тот миг я счел, что соглашаюсь уделить ему сколько-то времени потому лишь, что однажды, когда мне пришлось туго, он-то своего для меня не пожалел, то есть мой визит будет проявлением ответной любезности, одним из пустяков, переполняющих наше бытие. Я не мог предвидеть, до какой же степени ошибался тогда, ибо случившееся в тот вечер запустило некий ужасный механизм, и, быть может, остановить его под силу только этой книге — книге, написанной во искупление злодеяний, которые я хоть и не совершил, но унаследовал.

Франсиско Бенавидес, один из самых известных колумбийских хирургов, большой любитель односолодового виски и ненасытный книголюб, не забывавший, впрочем, подчеркивать, что предпочтение отдает истории подлинной, а не выдуманной, прочитал мою книгу — скорее выдержав характер, чем получив удовольствие — потому лишь, что его чувствительную душу трогало творчество пациентов. Я, строго говоря, не принадлежал к их чис-

лу, хотя первая наша встреча и произошла именно по медицинскому поводу. Как-то вечером, в 1996 году, спустя несколько недель после моего переезда в Париж, я бился над расшифровкой одного эссе Жоржа Перека, когда вдруг обнаружил у себя под кожей на нижней челюсти какой-то странный желвак, похожий на шарик, какими любят играть дети. В последующие недели желвак вырос в размерах, однако я был так сосредоточен на переменах в моей жизни, так увлеченно постигал законы и обычаи нового для себя города, ища свое место в нем, что не обратил на это должного внимания. Однако прошло еще несколько дней — и лимфоузел воспалился до такой степени, что меня перекосило: на улице я ловил жалостливые взгляды, а моя коллега стала при встречах от меня шарахаться, опасаясь подхватить неведомую заразу. Начались обследования, но целый легион парижских врачей не в силах оказался поставить верный диагноз, а один из пользовавших меня — имя его я даже вспоминать не желаю — дерзнул заподозрить у меня лимфому. Тогда родные и обратились с вопросом, возможно ли такое, к Бенавидесу. Тот, хоть и не был по специальности онкологом, но в последние годы занимался неизлечимыми болезнями — частным порядком, на свой страх и риск и без какого-либо вознаграждения. И вот, хотя с его стороны безответственно было ставить диагноз пациенту, находящемуся по другую сторону океана, и тем более — в эпоху, когда пересылка фотографий по телефону и камеры, подключенные к компьютерам, еще не вошли в обиход, Бенавидес не пожалел на меня ни времени, ни знаний, ни интуиции, а его трансатлантическая помощь оказалась бесценной. «Будь это то, что у вас ищут, — сказал он мне по телефону, — давно бы уже нашли». Заковыристая логика этой фразы была сродни на-

дувному спасательному кругу: утопающий хватается за него, не спрашивая, нет ли в нем дырки.

Через несколько недель (время для меня тогда сменилось безвременьем, ибо я старался сжиться с весьма определенным ощущением того, что моя двадцатитрехлетняя жизнь подходит к концу, но был так оглушен этой перспективой, что даже не мог по-настоящему испугаться или затосковать) терапевт, с которым я случайно познакомился в Бельгии, активист движения «Врачи без границ», только что вернувшийся из афганского ада, моментально поставил диагноз — редкая форма ганглиозного туберкулеза: в Европе он давно исчез, но в странах «третьего мира» (он, в отличие от меня, употребил это выражение без кавычек) еще встречается. В Льеже меня госпитализировали — заточили в больничную темницу, делали со мной что-то такое, от чего, казалось, кровь кипела, потом под наркозом взрезали меня ниже челюсти справа и взяли кусочки на анализ, а неделю спустя лаборатория подтвердила все, что новоприбывший доктор сказал, не прибегая к таким дорогостоящим исследованиям. Еще девять месяцев я принимал тройные дозы антибиотиков, окрашивавших мочу в ядовито-оранжевый цвет; опухоль постепенно спадала, покуда однажды утром я не почувствовал, что, как сказал поэт, слегка увлажнена подушка, и понял — что-то прорвалось. После этого лицо мое мало-помалу обрело прежние очертания и вообще все стало, как было (не считая двух шрамов, из которых один был почти незаметен, а другой — хирургический — очень даже заметен), и я смог, наконец, оставить эту историю в прошлом, ибо предать ее забвению мне за все эти годы так и не удалось, потому что вышеупомянутые шрамы мне о ней напоминали. Не покидало меня и чувство, что я перед доктором Бе-

навидесом в неоплатном долгу. Через девять лет мы впервые с ним увиделись, но и тогда я не сумел поблагодарить его так, как он заслуживал. И, быть может, поэтому он с такой легкостью вошел в мою жизнь.

А встреча наша произошла случайно в кафетерии клиники «Санта-Фе». Мы с женой провели там две недели и из кожи вон лезли, чтобы как можно скорее покончить с неприятностью, заставившей нас продлить наше пребывание в Боготе. Прилетели мы туда в начале августа, назавтра после Дня независимости, имея намерение провести летние каникулы с нашими родителями и вернуться в Барселону, когда настанет время рожать. Шла двадцать четвертая неделя беременности, протекавшей совершенно нормально, чему мы неустанно радовались, поскольку знали, что вынашивание близнецов по определению входит в категорию высокого риска. Однако всякая нормальность исчезла утром воскресенья, когда я повел жену, промаявшуюся всю ночь от странных болей и общего недомогания, к доктору Рикардо Руэде, специалисту по различным патологиям беременности, который консультировал нас с самого начала. Сделав УЗИ, доктор сообщил нам кое-что новенькое:

— Вы отправляйтесь домой и привезите одежду, — сказал он мне. — Супруга ваша остается здесь до особого распоряжения.

Он объяснил нам ситуацию тоном и стилем, какие в ходу у тех, кто в переполненном кинотеатре объявляет о пожаре — надо довести до сведения публики всю серьезность ситуации, но сделать это так, чтобы люди не затоптали друг друга в давке. Подробно описал понятие «цервикальной недостаточности», выяснил, бывают ли у М. судороги, и наконец сообщил, что надо затормозить необратимый процесс, начавшийся без нашего ведома, и действовать без промед-

ления. Затем — сообщив о возгорании, попытался не допустить паники — дал понять, что преждевременные роды неизбежны и что от того, сколько времени сумеем мы выиграть в столь неблагоприятной ситуации, зависит, выживут ли мои дочери. Иными словами, мы вступили в гонку с календарем и усвоили, что в случае нашего проигрыша риск переходит в категорию смертельного. И с этой минуты каждое принятое решение имело целью отсрочить наступление родов. Так что сентябрь М. встретила на первом этаже клиники, в двухнедельном заточении на строжайшем постельном режиме, ежедневно подвергаясь процедурам, которые испытывали наше мужество, наши нервы и нашу стойкость.

Однообразное больничное существование днем строилось вокруг инъекций кортизона, призванных укрепить и развить легкие моих нерожденных дочерей, анализов крови, столь частых, что у жены на предплечьях скоро в буквальном смысле не осталось живого места, мучительных ультразвуковых исследований, длившихся порой до двух часов и определявших состояние мозга, позвоночников и сердца, которые бились учащенно и всегда вразнобой. Ночная рутина была не менее беспокойной. То и дело входили сестры, собирали данные, задавали вопросы, и от этого ровного сна, добавившегося к нескончаемому стрессу, мы оба пребывали в постоянном раздражении. У М. начались судороги, и, чтобы унять их частоту или интенсивность — этого я так и не узнал, — ей стали давать препарат, от которого, как нам объяснили, ее бросало в сильный жар, и я по ее просьбе настезь распахивал окно палаты, отчего меня билла дрожь: рассветы у нас в Боготе весьма прохладные. Иногда, разбуженный приходом сестры или холодом, я бродил по безлюдной в этот час клинике: присаживался на кожаные диваны в комнатах для ожидания и, если там горел

свет, прочитывал несколько страниц «Лолиты», с обложки которой наблюдал за мной Джереми Айронс, или слонялся по темным коридорам — по ночам половину неоновых ламп выключали, — шагая из палаты в отделение новорожденных, а оттуда — в приемную хирургической амбулатории. И во время этих ночных прогулок по белым коридорам старался вспомнить все, что говорили мне врачи, и представить себе, какие опасности ожидали бы младенцев, вздумай они появиться на свет в этот миг; подсчитывал, какой вес уже набрали плоды за последние дни, и сколько еще времени нужно, чтобы появился минимум, необходимый для самостоятельного существования, и впадал в растерянность от того, что мое благополучие свелось к этому навязчивому подсчету граммов. Я старался, впрочем, не слишком удаляться от палаты и не расставался с телефоном, держа его не в кармане, а в руке, из опасений ненароком пропустить звонок. И постоянно поглядывал на него, проверяя, есть ли покрытие сети, устойчив ли сигнал, чтобы, не дай бог, мои дочери не родились без меня всего лишь из-за отсутствия четырех линий на маленьком сером небосводе ЖК-экрана.

Вот во время одной из таких ночных прогулок я и познакомился с доктором Бенавидесом, а вернее — он познакомил меня с собой. Я вяло крутил ложечкой во второй порции кофе с молоком, сидя в глубине круглосуточного больничного кафетерия подальше от группы практикантов, отдохнувших в перерыве ночного дежурства (которое в моем городе никогда не бывает спокойным, потому что жертв крупных и мелких насильственных действий подвозят бесперебойно); в моей книге Лолита и Гумберт Гумберт, приводя географию в движение, заполняя парковки слезами и незаконной любовью, уже начали странствовать по Америке, из моте-